

Библиотека всемирной литературы

Елена Шульцбергер, русская, 24 лет, студентка Всесоюзного института культуры, член ВЛКСМ с 1976 года, как-то раз потеряла книгу — сочинения Франсуа Рабле в серии «Библиотека всемирной литературы».

По всей видимости, оставила она ее на скамейке возле 302-й аудитории во время зимней сессии на своем факультете режиссуры народных театров и массовых мероприятий, будучи в полуобморочном состоянии. В книге (а это был толстый том, таким убить можно) имелись: сам текст про Гаргантюа и Пантагрюэля в переводе Любимова, а также сложная и большая вводная статья, научные комментарии, красивая суперобложка и милые картинки внутри на двух цветных вкладках. Теперь, когда она думала обо всем этом, ей становилось физически нехорошо.

Шульцбергер сразу узнала, что на черном рынке такая книга стоит «от шестидесяти рублей». Но в принципе купить можно. Просто надо быть готовым к тому, что попросят все восемьдесят. И тогда нужно торговаться. Ну как торговаться, вот просто твердо сказать: извините, но таких денег у меня нет, резко повернуться и решительно идти к метро. И вот тогда они могут догнать и предложить семьдесят, и можно будет спустить сначала до шестидесяти пяти, а потом и до шестидесяти.

Все эти советы она выслушала по телефону, сухо сказала в ответ «спасибо» и медленно положила трубку. Потом к горлу подступила волна, и Лена, долго ей сопротивляясь, пила воду, стакан за стаканом, а затем наконец начала рыдать. Рыдала она больше часа, пока не заснула.

Лена получала на работе семьдесят рублей в месяц, да еще с вычетами, и о каких шестидесяти-восемьдесят рубльях можно было вообще говорить?... Откуда взять такую сумму *на одну книгу?*... Она просто не представляла себе.

Она вообще не знала до этого момента, что такая книга может стоять восемьдесят рублей (не букинистическая, не дореволюционная, не манускрипт средних веков, просто книга из подписного издания номиналом три рубля сорок пять копеек).

Ну хорошо, «Мастер и Маргарита», знаменитый черный томик Ахматовой или синий Пастернака в «Большой библиотеке поэта», предположим, да, теоретически, мог стоять — на черном рынке и восемьдесят, и сто, это она понимала, но это был предмет культа, драгоценность,

бриллиант в домашней библиотеке, но почему Рабле, автор-гуманист эпохи Возрождения? Ну извините, ну пятнадцать. Ну хорошо, двадцать. Ну ладно, двадцать пять. Это еще можно как-то собрать, одолжить...

Однако ей назвали именно такую цифру.

Вдруг Лена подумала — а может, это шутка? Или ее просто разыгрывают?

Она снова набрала знакомый номер и спросила:

— Валер, а это точно? Ну, я имею в виду, вот все эти цифры...

Эти данные Шульцбергер получила от Валеры Семеняки, парня из далекой деревни в Харьковской области, который очень рано почувствовал необыкновенную любовь к книгам (не к каким-то конкретным, а к книгам вообще) и переехал в Москву, чтобы заняться ими по-настоящему.

Про книги он знал буквально все и порой, в дни наиболее удачных сделок, бывал сказочно богат, водил девушек в кафе «Молодежное» на улице Горького и поил их шампанским. Это был целый ритуал. Они называли это «день книголюба».

— Лен, ну что я тебя, обманывать, что ли, буду? — обиженно пробасил Семеняка и снова стал объяснять про рыночную стоимость и про то, что торговаться — это не стыдно, а наоборот, таким образом ты даешь продавцу почувствовать свое уважение.

Лена снова повесила трубку и долго смотрела перед собой, на портрет Есенина, висевший на стене с голубенькими обоями.

И потом уже позвонила мне.

Мы дружили с Шульцбергер полтора года, с тех пор как встретились на закрытом просмотре фильма Тарковского «Зеркало» во ВГИКе (как мы туда попали, я уже и не помню). С ней было всегда интересно, но как только она ощущала какие-то неправильные послылы с моей стороны, то тут же надувалась и становилась очень сварливой.

Не то чтобы я чего-то терпеливо ждал, просто не хотелось ничего менять. С ней было уютно и весело временами. Да и встречались мы не то чтобы очень часто — это совершенно не утомляло.

Но в тот день она задала вопрос, который явно не вписывался в наши отношения.

— Послушай... — сказала она, тяжело дыша. — А ты можешь меня спасти?

— Господи, да что с тобой случилось?

— Понимаешь... я потеряла книгу, — сказала она, и тогда я непроизвольно расхохотался.

Как оказалось, я тоже имел отношение к этой истории, потому что книгу она брала у моего друга Сени, когда мы были у него на дне рождения.

Сеня был очень милый, добродушный, серьезный и положительный мальчик из МАИ, с которым мы шесть лет учились в одном классе.

Он торжественно подвел нас к отцовской библиотеке и указал на полный комплект «всемирки».

— Видите? — сказал он. — Вчера получили последний том.

Исландские саги, Песня о Роланде... Сервантес.

Сеня проводил пальцами по глянцевым корешкам суперобложек, и на лице его отражалось физическое наслаждение.

— Ой! — вдруг сказала Лена Шульцбергер, которая впервые на моей памяти выпила два бокала красного вина и сильно захмелела. — А мне как раз очень нужен Рабле!

По добрейшему лицу Сени пробежала легкая тень.

— Да? Действительно? — переспросил он. — Но только, Леночка, ты верни в полной сохранности, пожалуйста. Лучше, кстати, дома суперобложку снять. А то в сумке растреплется. И обернуть в бумагу или в газету. Вот. Ну и, конечно, не потеряй. А на сколько ты возьмешь?

Отступать было поздно, и Ленка затараторила, что всего на две-три недели, пока не сдаст зарубежку, а то в факультетской библиотеке есть только в старом переводе Пяста, а им в старом переводе Пяста читать не велели, там с купюрами, и что она, конечно, обязательно вернет в целостности и сохранности, будет сдувать пылинки, и вообще она так благодарна, что даже не знает, как выразить свою благодарность, что прозвучало уже почти неприлично. Сеня хмыкнул и сказал, что сейчас запишет на карточку — все книги, которые он давал читать, записывались им на специальные карточки: кому дал, на сколько и специальные примечания — «для сдачи экзамена», например, это он записал по поводу Шульцбергер и, расставаясь с книгой, любовно погладил по обложке, заглянул внутрь и, удовлетворенный, вручил том Рабле пьяной девушке, как кольцо с бриллиантом.

Все это настолько мне не понравилось уже тогда, во время дня рожденья, что я хотел сказать Ленке, что лучше бы она передумала.

Но она делала все это с такой очаровательной дурацкой манерой девушки, которая попробовала алкоголь чуть ли не впервые в жизни, что я быстро обо всем забыл, да и сам, честно говоря, был в очень хорошем настроении, мне казалось совершенно очевидным, что она пошла в гости со мной к моим друзьям, как моя девушка, и это требовало осмысления, да бог с ней, с этой книгой, нет, все в этот вечер получилось удачно...

И я, разумеется, забыл про свои дурацкие опасения, а через три дня она позвонила и страшным голосом рассказала всю эту историю.

Я встретился с Семянкой и спросил, какие могут быть вообще варианты. Ну в принципе. Теоретически.

— А никаких, — лениво ответил он. — Ну, если б это была «Песня о Роланде». Или какой-нибудь том, знаешь, типа: «Николай Некрасов. Поэмы», тогда да. Двугривенный, и все дела. И замену можно найти. Но Рабле...

— А что в нем такого, в этом Рабле? — разозлился я. — В этом Гаргантюа и Пантагрюэле?

— Сам не понимаешь? — угрюмо спросил меня Семянка.

Я упорно пожал плечами.

— Ну они же там это... сношаются, — сказал он с мягкой украинской улыбкой. — Какают, писают, жрут... И все это весело, а не стыдно. И все на благо человека, все во имя человека. Как в программе партии. Где еще такие книжки есть, где их издают? Только на английском языке, наверное.

Ну странно, по-прежнему отказывался верить я, как будто сам Семянка мог скостить цену, в романе Анатолия Иванова «Тени исчезают в полдень» тоже много сексуальных сцен. Нет, это другое, поморщился Семянка. Это совсем другое, это советский стиль, инда взопрело и все такое. Это тоже ценится, конечно, я за Иванова бы отдал, наверное, четвертак, а то и тридцатку. Но это другое. Да ты почитай Бахтина, сказал он, там все написано. Карнавальная культура, все такое. Могу дать, у меня есть. Потом он предложил пойти выпить кофе.

Мы пошли в факультетский буфет, встали за круглые столики и стали медленно тянуть кофейный напиток «Свежесть».

— Да, я помню, — сказал я, — карнавальная культура, все дела, но слушай, Валер, мне девушку надо спасти.

— А чего спасать-то? — удивился он. — Просто не звоните ему, и все, этому Сене. Может, забудет.

— Да нет, Сеня все на карточки записывает...

— Ах это, — Валера улыбнулся с понимающим выражением лица. — Ну скажи, украли. Сумку вырвали. Хулиганы, бандиты. То, се.

— Это нехорошо, — сказал я и набухал в напиток «Свежесть» четыре ложки сахара, иначе пить было невозможно. — Беду накликаешь. И потом, ты знаешь, вроде логично идти в отказ, но это будет хуже. Сейчас цель — избавить девушку от мучений. Предложить план. А вот таким образом мы ей этих мучений только добавляем. Она не умеет врать. Она хорошая.

— Понятно, — задумчиво сказал Семеняка. — Непростая ситуация.

Шульцбергер между тем звонила мне каждый вечер.

— Ты обещал меня спасти, — твердо говорила она. — Помнишь?

— Спасу, — говорил я. — Не дрейфь. Все будет хорошо.

— А что ты делаешь для моего спасения? — настаивала она. — Какой у тебя есть план?

— У меня есть план А, — говорил я.

— А план Б? — продолжала настаивать она.

В ее голосе ощущался легкий нервический смешок.

А мне, честно говоря, было совершенно не до смеха.

В Шульцбергер как будто вселился какой-то демон. Она нашла центральную городскую библиотеку, где такой же Рабле находился в свободном доступе, и ходила туда каждый день по вечерам (библиотека работала до восьми). Она вынашивала план похищения (!), изучала расположение залов, коридоров, книжного хранилища и еще обсуждала все это безумие со мной.

— Но ты послушай, — говорила она по телефону задушенным голосом. — Смотри, ты приходишь, записываешься, мы вместе сидим, занимаемся, часов до семи, потом ты, предположим, падаешь на пол и изображаешь, что у тебя эпилептический припадок, ну знаешь, как у Достоевского, стиральный порошок я тебе дам, напихаешь перед этим в рот, начнешь биться, пускать слюни, они все станут орать, тебя откачивать, вызывать милицию, в этот момент я тихо проскользну в хранилище, возьму книгу и убегу, а ты тоже потом...

— Что?

— Встанешь и убежишь.

— Но ведь нас найдут и посадят в тюрьму.

— За Франсуа Рабле?

— Какая чушь, — говорил я. Мне и самому становилось страшно. Грабить учреждение культуры я был как-то совершенно не готов.

Тогда Лена стала много говорить о творчестве Рабле, великого французского гуманиста. Ты знаешь, я поняла, что он великий гуманист, говорила она, как будто находясь в легком бреду или под действием легких наркотиков, вот все эти пиписьки, пуканье, сплошное и бесконечное пуканье, это все очень поэтично, переваривание, пищеварение, другие физиологические отправления, ведь тогда все были очень набожные, да? — это же было невозможно, говорить в книге о таких вещах, да и вообще этот праздник человеческого тела, я все понимаю, но читать мне это неприятно, знаешь, самое обидное, что мне по-прежнему неприятно все это читать... Я сижу, читаю, читаю, как дура, и плачу, начинаю рыдать с любого места, как будто это мелодрама или роман Этель Лилиан Войнич «Овод», сцена казни. Ужасно.

Причем все это в устаревшем переводе Пяста.

Наконец она уговорила меня подойти к зданию центральной городской библиотеки имени Некрасова в момент закрытия. Мы должны были изучить, когда ее закрывают и ставят на сигнализацию.

Стоял чудесный октябрьский вечер.

Я до сих пор хорошо помню эту советскую Москву перед наступлением заморозков — когда сгущается вечером воздух и в нем висит последнее тепло, мягкий свет падает с багрового, какого-то невероятно зловещего неба, и скользят по улице Горького усталые машины, черные «Волги», «Жигули», грузовики, накрытые брезентом, а у тебя сердце сжимается от непонятной боли.

Такими вечерами я мог ходить по городу пешком сколько угодно, часами, а тут приходилось стоять и мерзнуть с Шульцбергер, которая сошла с ума.

Наконец я уговорил ее сделать перерыв и зайти в кафе «Лира».

Никогда никаких девушек я не водил ни в какое кафе «Лира», там было нереально дорого и противно.

Но в данном случае было необходимо хоть что-то придумать.

На втором этаже кафе «Лира» было страшно накурено и почему-то совершенно пусто, как будто какая-то пьяная компания ушла отсюда только что. Подошел хмурый

официант и внимательно на меня посмотрел, объявив, что из горячих блюд есть только ромштекс, а из спиртных напитков — коньяк.

— Я не могу коньяк, — растерянно шепнула Шульцбергер.

Мне показалось, что официант хочет, чтобы мы как можно скорей покинули заведение.

— А коктейли у вас есть? — спросил я.

— Есть, — неохотно подтвердил официант. — «Полярное сияние», «Звездопад», «Ласточка». Вы какой предпочитаете?

Тогда я заказал «Полярное сияние», это была смесь шампанского с ликером шартрез.

Шульцбергер я решил его на всякий случай не давать.

Она смотрела на меня молча, готовая в любую минуту разрыдаться.

— Что же делать? — прошептала она громко.

Я выпил залпом «Полярное сияние», и вдруг сразу стало так хорошо, что я даже удивился.

— Лена, — сказал я, — на самом деле горькая правда состоит в том, что плана Б у меня нет, надо реализовывать план А. Он очень простой: мы подарим Сене хорошую дорогую книгу, но не очень дорогую, а просто хорошую, и во всем ему признаемся, как наш друг он должен понять и простить, это будет, как визит к зубному врачу, но если ты настроишься и перестанешь трястись, я тебе помогу и все будет хорошо. Все равно я должен в этом участвовать, потому что с меня все началось, ты не одна в этом мире, и уж тем более это не самая важная проблема в твоей жизни, поэтому давай гулять по бульварам и представлять, как мы будем говорить с Сеней, и даже веселиться. Это будет весело, правда, — уныло добавил я, потому что на ее лице появилось выражение, которое я давно изучил.

Это было выражение тупого еврейского упорства.

— Нет, — твердо сказала она, — я хочу ограбить библиотеку.

— Ладно, — решительно сказал я.

Мы расплатились и вышли из кафе «Лира», чтобы больше никогда туда не возвращаться. Мы стояли напротив библиотеки Некрасова и изучали лица выходящих из нее последних посетителей. Вечер сгустился, настала осенняя холодная ночь, зажглись фонари, из подъезда вышел служитель и странно на нас посмотрел, но нам было все

равно, мы ржали во весь голос, представляя себе ограбление библиотеки.

Странным образом мой коктейль «Полярное сияние» оказался внутри Шульцбергер, хотя она его даже не попробовала. Она хохотала как дурная, а потом резко остановилась, сказав: «Пошли!»

Мы подошли к библиотеке со двора, Лена нащупала на земле здоровый обломок кирпича, выбрала окно и замахнулась всерьез. Мне пришлось принять решительные меры, я взял ее за руку с кирпичом, другой прижал к себе и поцеловал в губы.

Кирпич упал мне на ногу, стало очень больно, она плакала и смеялась одновременно, потом опять надулась.

— Неужели ты думаешь, — прошипела она, — что я все это придумала, чтобы тебя соблазнить? Ты ошибаешься, дорогой мой, я просто потеряла книгу, и меня это мучает...

— Меня тоже, — сказал я, и мы расстались в тот вечер.

Я начал медленно обзванивать знакомых. Книги, с которыми люди могли расстаться (о том, чтобы продать по черному курсу, не было даже речи), были все очень разные, иногда даже просто хорошие: например, мне предлагали Ремарка, «Три товарища», в хорошем, качественном, не макулатурном варианте, предлагали Апдайк, «Кролик» и «Кентавр» в одном томе, предлагали Луи Буссенара, дореволюционный справочник по гинекологии, Хемингуэя — «Праздник, который всегда с тобой» и «Прощай, оружие», один парень предложил три тома из собрания сочинений Сталина, предлагали очень старые издания Аксенова и четырехтомник Есенина без одного (последнего) тома, но «там, правда, только проза, письма, это все равно никому не нужно», я все записывал и обещал перезвонить.

Прошла неделя, а потом другая. Решение не находилось.

Однажды я от нечего делать взял с полки своего Рабле в переводе Пяста, это была очень старая, разорванная по мягкому тканевому корешку книга с очень смешными иллюстрациями и с черно-белой, уклончивой, но ясно намекающей на суть дела графикой.

Понятно, что это была книжка старая, в плохом состоянии, не имеющая никакой рыночной цены, изданная в «Детгизе», текст с купюрами, все самое интересное пропущено, но зато мы меняем одного Рабле на другого, в этом есть хоть какой-

то смысл! Неожиданно я понял, что это единственный вариант.

Я приехал к Шульцбергер и начал тихо ее уговаривать.

— Это невозможно, — кричала она, — это неприлично, это выглядит так, как будто мы украли у него книгу, я со стыда сгорю, неужели ты не понимаешь?

Шульцбергер была настолько чиста и настолько щепетильна, что раньше я даже не мог себе представить этой проблемы в полном объеме.

— Лена, — сказал я осторожно, — скажи, пожалуйста, ну а вот если бы, предположим, тебе бы очень захотелось писать, ты бы смогла зайти в кусты, ну где-то вот во дворе или в скверике в нашем?

Она медленно покраснела.

— Наверное, нет, — печально сказала она.

— Ну и что бы ты делала?

— Наверное, умерла бы...

Она смотрела на меня так ясно и прямо, что я начал медленно краснеть. Мне стало ужасно стыдно — и за этот кирпичный поцелуй, и за то, что вот уже целую неделю я думаю о том, как буду лежать в ее постели и думать о прочитанных книгах, но, как оказалось, ничего этого не будет и быть не может.

— Помоги мне, пожалуйста, — прошептала она.

Сеня встретил нас с неприятным лицом. Казалось, что он все уже понял. Но вообще-то это чужая собственность, прошептал он мне в коридоре громким недовольным шепотом.

Да, прошептал я в ответ, но это удивительная девушка, она очень переживает.

Сеня задумался.

Он долго поил нас чаем, вертел в руках Рабле в переводе Пяста и наконец сказал с облегчением: ну ладно, я скажу папе, что вас ограбили, — и вдруг легко, радостно засмеялся.

На улице Шульцбергер прижалась ко мне плечом, крепко взяла за руку и поцеловала в щеку.

Лена, сказал я, как жаль.

Мне тоже, сказала она.

Рабле я иногда перечитываю...

Я не знаю, честно говоря, почему эти книги — тогда — так дорого стоили. Что в них было такого, что люди отдавали

за них жизнь, честь и целое состояние.

Но память о том, как это было, кажется мне достойной того, чтобы ее сохранить. Хотя бы ради Лены Шульцбергер и соленого вкуса ее губ.

Очки

Это началось летом. А кончилось осенью.

Мне тогда было шестнадцать, а ей двадцать четыре. Конечно, именно эта разница поднимала наши отношения на какую-то небывалую высоту.

Мы много гуляли, разговаривали, звонили друг другу по телефону, иногда целовались. Все было хорошо.

С другой стороны, и для меня, и для нее все это было не очень просто. Именно в силу цифр, которые тогда казались пугающими. Она, например, очень боялась, что если моя мама что-то узнает, то обязательно позвонит или напишет жалобу в партком, и тогда ее обязательно исключат из партии (она была членом партии), уволят с работы и посадят в тюрьму, где она будет выпускать стенгазету.

Не раз я представлял себе, как секретарь парткома, суровый лысый мужчина в очках, в клетчатом пиджаке и с усталым лицом, вызывает ее к себе в кабинет, просит сесть, она ничего не понимает, он придвигает ей письмо через полированный стол и говорит сухо и коротко: прочтите, Светлана Игоревна. И тут она начинает рыдать.

Каждый раз, когда я брал ее за руку или прижимал к себе, она шептала мне: ты помнишь, о чем я тебя просила?

Имелось в виду — никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах ничего не говорить моей маме.

Этот шепот дико возбуждал, не по содержанию, а по форме (губы прижимались к моему уху, громкий шепот, короткий смешок), но я послушно кивал — да, да, не бойся.

Этот ее страх был для меня совершенно загадочным. Ну во-первых, с какой стати я должен был говорить *об этом* маме? Во-вторых, с моей точки зрения, мама ни за что не позвонила бы в партком. Моя мама вовсе не была членом партии. Скорее, моя мама даже обрадовалась бы таким обстоятельствам.

Но и мне тоже было иногда страшно. Многое непонятно. Очень важные вопросы так и оставались без ответа.

Могу ли я, например, обнимать ее на улице? Стоять с ней в подъезде? Целоваться в метро? Я не знал, что и кому я должен про нее говорить.

Непонятно, впрочем, было и многое другое.

Например, у нее слишком часто менялось настроение. Иногда она неожиданно плакала. Иногда вдруг бурно веселилась и сильно смущала меня этим.

Кроме того, она слишком много работала. Писала по ночам очень длинные и с моей точки зрения немного тяжеловесные статьи. А днем ходила на службу.

Все это время, с начала лета и до конца осени, я знал про нее буквально все. Я знал ее расписание на завтра и даже на послезавтра. Знал, где живет ее первый муж и где живет второй муж, и примерно представлял, где живет третий, хотя мимо вот именно этого дома меня никогда не водили, он был какой-то невесомый, ненадежный, несуществующий — и дом, и муж. Я знал темы всех ее статей и читал их в рукописи. Я ходил вместе с ней на интервью, дожидаясь в подъезде. Час, два, три, не имело значения. Я знал, когда она уезжает в командировку и когда возвращается, сколько денег ей выдали в бухгалтерии, и сколько она должна, и сколько останется до полочки. Я знал тему ее очередного партсобрании. Вместе с ней я забирал рукопись у автора, осенние туфли из ремонта, посылку с грецкими орехами и вареньем от мамы с Киевского вокзала, вместе с ней отдавал прочитанные книги, забывал зонтик и возвращался за ним обратно в редакцию в дождливый день. А дождливых дней становилось все больше и больше.

Я еще не знал тогда, что это станет моей кармой. Все последующие за ней девушки — словно повинувшись той, самой первой, матрице — станут таскать меня за собой повсюду. Как чемодан без ручки, который носить неудобно, а выбросить жалко. Сколько часов я провел в этих бесконечных бессмысленных перемещениях из точки А в точку Б, знакомясь с незнакомцами, сопровождая несуществующие отношения и переживая внутри себя нелепые страсти.

Однажды она как-то пошла к своей преподавательнице по немецкому языку, «просто попить чайку», как она сказала. Я намекнул, что готов подождать ее. «Не знаю, — сухо ответила она. — Это займет не меньше часа сорока пяти минут». По всей видимости, она, кроме благородной цели навестить старушку, решила взять у нее еще один урок или даже целый курс, хотя давно закончила институт. Я пожал плечами. Дверь хлопнула, и я остался один в подъезде.

...Это был старый дом у Патриарших прудов.

У меня не было книжки, и я начал просто смотреть в окно. Окно выходило во двор. Сырой синеватый вечер тяжело опускался на Москву. Было довольно холодно, там, на улице. Я прижался лбом к оконному стеклу. И поджал колени к подбородку.

Это и была та грусть, от которой невозможно избавиться никогда. Придя однажды, она уже не уходит.

Вместо того чтобы спокойно лежать на чьем-то диване в одних носках и курить, я сидел тут, в пустом подъезде, на подоконнике, понимая всю нелепость этого занятия. Но оно меня увлекало.

Я смотрел, как сгущается воздух. Как дети чертят мелом на асфальте разные фигуры. Как зажигаются окна. Я хотел, чтобы она удивилась, увидев меня тут вновь.

Она снимала однокомнатную квартиру в северном районе Москвы. У черта на рогах. Туда можно было добраться только на автобусе от «Белорусской». До ее остановки автобус ехал двадцать пять минут. Плюс ожидание. Плюс давка. Обратное к метро ехать тоже было не особенно приятно. Тем более поздней осенью.

Москва в ту пору была довольно темным городом. Иногда, конечно, маячили какие-то слабо освещенные буквы: «Слава КПСС», или «Навстречу Великому Октябрю», или «Мир. Труд. Май». Но слишком много электроэнергии на эту ерунду тогда никто не тратил. Многие лампочки были неисправны, и содержание слов становилось загадочным и даже мистическим. Лампочки мигали в ночи как бы сами по себе, отдельно от смысла. Никаких сияющих во тьме огромных реклам, никаких огромных источников искусственного света — торговых центров, или крытых рынков, или платных парковок — еще просто не существовало.

Слабый свет в салоне одинокого автобуса порой был единственным подвижным огоньком на всей улице, не считая фонарей, которые горели совсем уж тускло.

В небе над Москвой еще можно было увидеть звезды.

В такое позднее время из темноты внезапно выдвигались совсем неожиданные лица. Граждане заходили в автобус и настороженно озирались.

Чаще всего это были просто усталые люди. Иногда люди, ищущие приключений по пьяному делу. Иногда — довольно одинокие в этом темном городе парочки.

На последних я смотрел с затаенной завистью. Они ласково прижимались друг к другу. Им было доступно то, что не было доступно мне. Для них было просто и понятно то, что было сложно и загадочно для меня.

Например, я никогда не мог пригласить ее в кино. Это было совсем, ну никак невозможно.

— А как ты себе это представляешь? — спрашивала она. — Идет взрослая тетя с таким малышом, и плюс к тому он еще все время к ней пристаёт.

— Ну а если я, предположим, твой брат? — тупо спрашивал я.

— Нет, знаешь, наших людей на такой мякине не проведешь! — вспыхивала она. А потом вдруг, сменив интонацию, жалобно просила: — Не мучай меня, ладно?

Домой она меня к себе не пускала. Как правило.

Мы часами гуляли на ее скучном бульваре имени какого-то великого советского генерала, сидели на скамейках, покупали хлеб в магазине, а если приходили вечером гости, то она посылала меня за вином — стоять в очереди вместе с алкоголиками.

Один раз даже послала сдавать белье в прачечную.

Но постепенно дни становились холоднее, и ей пришлось изменить политику.

Она стала читать мне свои статьи вслух.

Вообще для нее это был необычайно важный момент. Он был важнее всех ее мужей, важнее подруг и друзей, и уж конечно важнее меня, иногда важнее настроения и здоровья, а иногда даже важнее коммунизма — в который она верила как в торжество нравственного самосовершенствования и большой духовной работы (а не как в лозунги очередного съезда партии).

...Она очень хотела писать большие статьи в газету.

И она писала их, исступленно, по ночам, потому что днем она работала референтом в том же отделе, в котором хотела стать «разъездным» корреспондентом, а вечером у нее были дела, и одним из этих дел обязательно был я.

Поэтому, когда дни стали холоднее и я стал чаще попадать в ее однокомнатную квартиру, она начала использовать меня как первого слушателя. Вряд ли ей было важно именно мое мнение, но читать свои статьи вслух она считала необходимым. Вернее, фрагменты статей. Она проверяла эти фрагменты на слух.

Она так и писала — фрагментами, заполняя серые или желтые страницы писчей бумаги, которую я носил из редакции целыми тяжелыми сумками, — писала огромными замысловатыми каракулями. Каждый такой фрагмент был по десять-двадцать страниц. Потом из него получался абзац, ну или два абзаца.

Я, например, хорошо помню фрагмент про участкового милиционера. Этот милиционер взял шефство над девочкой из своего микрорайона, когда она сбежала из дома и стала ночевать в подвалах.

Это была хорошая девочка, которая даже писала стихи, но она больше не могла видеть свою пьяную мать, или пьяного отца, а может быть их обоих вместе, и вообще эта девочка была романтиком и стремилась к свободе, поэтому в школу ходить перестала, но участковый милиционер быстро ее нашел и буквально спас от хулиганов, от жизни в подвалах и от падения в пропасть. Он ходил вместе с ней по всем предприятиям своего микрорайона: столовым, прачечным, заводам и фабрикам, ателье и комбинатам бытового обслуживания — и устраивал ее на работу. Бюрократы устраивать на работу эту несовершеннолетнюю девочку не хотели, но участковый милиционер упорно обращался в партийные организации и комитеты комсомола, даже *дошел до райкома*, писал письма (вот так одно из писем попало в редакцию), он был, безусловно, человеком коммунистического будущего, хотя при этом довольно простым парнем, и наконец его стали подозревать в том, что его мотивы не совсем чисты, сначала на него написали анонимку, потом уволили, потом восстановили через суд, потом он уволился сам, и вот теперь они часто встречались и разговаривали — этот милиционер и эта девочка.

— Послушай! — сказала она и подняла на меня глаза поверх очков.

Ее глаза в этот момент сверкали. Эти рабочие, «домашние» очки были совершенно простые, обычные, как мне казалось, в такой тонкой железной оправе, но на самом деле они были тоже остро модные и заказать такую оправу можно было только по блату, в специальной блатной «Оптике» на Нижней Масловке, но об этом я узнал позднее, уже от другой девушки, а тогда я этого не знал и просто отметил про себя, что лицо ее в этих очках становится совершенно другим, более ясным и отчетливым, прорисованным и тонким, я лучше могу ее рассмотреть, и от этого пристального рассматривания мне становится жарко и душно.

— Послушай! — говорила она, подняв руку вверх и не отрывая глаз от написанного. — Только вот этот кусочек.

Слова звучали как музыка. Я слушал эту историю про одинокого милиционера, про одинокую девочку, и мне становилось тепло и светло.

— Но чего-то не хватает. Чего-то не хватает.

— А чего? — недоумевал я.

— Нужен какой-то ударный момент.

— Ты думаешь?

— Ну вот послушай... «Осень. Хлещет холодный дождь. Мокрые листья прилипают к асфальту. Кажется, что в это время года все одинокие люди еще более одиноки, чем всегда. Но я знаю, что где-то там живет человек, который ждет меня у окна, читая книгу под лампой с зеленым абажуром...»

Я выходил на улицу с горящим лицом и некоторое время просто стоял, вглядываясь в темноту.

Однажды она читала мне даже тезисы своего выступления на открытом партийном собрании. Ее попросили выступить как молодого коммуниста. Остро и неожиданно.

— Ну послушай! — сказала она и подняла руку. — «Для нас, молодых коммунистов, это не просто красивая идея, абстрактная мечта, не просто система взглядов или научная теория. Коммунизм — это прежде всего тот нравственный идеал...»

Однажды во время чтения я просто снял с нее очки и привлек к себе.

Она этого совершенно не ожидала.

— Положи куда-нибудь, чтобы не разбились, — прошептала она.

И я положил их в нагрудный карман куртки. Была у меня такая синяя куртка от индийского джинсового костюма.

Куртку я потом снял.

— Выключи свет, я тебя стесняюсь, — прошептала она.

С улицы в однокомнатную квартиру проникал слабый свет фонарей.

Потом я снял рубашку.

— От твоей кожи пахнет парным молоком, как от теленка, — насмешливо прошептала она.

Я пожал плечами.

Резко зазвонил телефон. Она вскочила с кровати и зашлепала босыми ногами по полу. Я вежливо закрыл глаза.

Она долго сидела на стуле и разговаривала, завернувшись в занавеску.

Потом положила трубку и глухо сказала:

— Тебе пора домой. Слышишь? Мне надо работать.

Я быстро оделся, попрощался и тихо закрыл за собой дверь. Она уже сидела за столом и писала. А может быть, только делала вид...

Уже войдя в метро, бросив пятак и спустившись по эскалатору, я зачем-то сунул руку в нагрудный карман куртки.

Остановился. Минуту подумал и поехал назад.

Я не мог оставить эти очки у себя. Даже до завтра. Не из-за мамы. Какая ерунда. Нет, я просто знал, что она всю ночь будет писать статью.

Я хотел вернуться, но только из-за очков.

Было часов восемь. Я прикинул — полчаса туда. Потом обратно еще час. Нормально, успею даже до одиннадцати.

В ту пору я иногда приходил домой под утро, и ничего, как-то жил.

Иногда она спрашивала меня:

— Слушай, а у тебя же, наверное, есть домашние задания, уроки какие-то... Когда ты все это успеваешь?

Я ответил, что не успеваю.

— Ну и ладно! — весело отмахнулась она. — Подготовишься экстерном. Сейчас все так делают. Нынешняя школа слишком консервативна. В ней не учат мыслить. А тебе это совершенно необходимо.

— Почему? — удивился я.

— Ну ты иногда бываешь, знаешь... слишком прямолинейным, — засмеялась она чему-то своему.

В общем, путь предстоял не близкий. Туда, обратно. А сколько еще там? — задумался я.

Умные люди всегда ходили с книгой, а я нет. У меня не было удобной сумки или рюкзака, куда можно было бы положить книгу, поэтому, шляясь, я вечно придумывал разные истории, воображал себе невесть что. Как ни странно, я довольно часто ощущал себя (в этих фантазиях) в ситуации «последнего слова», то есть в моей туманной голове не возникало четкого сюжета, а возникал лишь последний, то есть *самый последний момент*, как бы перед смертью, или перед казнью, или перед выходом в открытый космос, или перед последним боем, когда я должен попрощаться со всем миром и вообще как-то кому-то объяснить, что я об этом обо всем думаю.

Почему я должен был так рано умереть, мне было неизвестно, но «последнее слово» складывалось в голове

легко и незаметно.

«Я уйду, — думал я в автобусе, пытаюсь протиснуться куда-то ближе к середине, — я уйду, чтобы вам всем, оставшимся, жилось светлее и, может быть, легче. Я уйду не с тяжелым чувством своей ненужности, нет. Я уйду, чтобы когда-нибудь вернуться...»

Прижавшись горячим лицом к стеклу, я повторял про себя эту чушь и пытался понять, где же сюжет, который объяснит мне смысл «последнего слова», и почему оно так важно, и кто его слушает.

Вдоль московских улиц стояли деревья.

Их было много. Везде.

Желтые листья, которые вскоре должны были облететь, падали на крышу автобуса, на асфальт, на тротуар. Город двигался мне навстречу, темнея. Я ехал к ней, чтобы отдать очки.

Войдя в знакомый двор, я остановился.

Что делать дальше, я не знал, вернее плохо себе представлял. Как вежливый человек я не хотел возвращаться после того, как меня попросили уйти.

Кроме того, я боялся, что буду неправильно понят. Да и сам я боялся что-то неправильно понять.

Честно говоря, мне хотелось оставить все как есть. Ровно в том же положении, в каком мы расстались.

Мне не хотелось продвигаться дальше. Я смутно понимал, что она этого тоже не очень хочет.

Тем не менее очки должны были быть возвращены.

Я подпрыгнул и сорвал с дерева кисть красной рябины. В темнеющем дворе пацаны играли в «собачку». Двое бросали мяч друг другу, а один пытался его поймать.

Я схватил одного малого за рукав, когда он побежал за мячом в кусты. У него было испуганное лицо, когда я взял его за плечо. Я ведь был большой взрослый парень.

— Знаешь двенадцатую квартиру? — просто спросил я.

— Да, — честно ответил малый.

— Отдашь? — и я сунул ему гроздь рябины вместе с очками.

— Отдам! — заорал он и понесся в ее подъезд.

Я еще постоял за углом, посмотрел, как он выходит обратно. Выходил он пустой. Ну то есть без очков.

— Ну как? Ты удивилась? — спросил я ее, позвонив ночью из-под одеяла, чтобы мама не слышала.

— Ужасно, — почти заплакала она.

— Что ужасно? — удивился я.

— Я была в старых разбитых очках, с одним стеклом... В каком-то ужасном халате. Взрослая тетка. Представляешь, что он подумал?

— Кто? — не понял я.

— Ну кто, твой мальчик! Кто-кто... Дед Пихто! — не выдержала она и повесила трубку.

...Когда это все-таки случилось и я добился своего, она спросила меня:

— Ну что, ты доволен? Ты выполнил то, что хотел?

Я не знал, что сказать. Кто знает, чего я хотел? Может быть, я хотел только произнести свое «последнее слово»? А может быть, я хотел стать настоящим коммунистом, не по форме, а по содержанию? А может быть, я хотел, чтобы эта осень длилась немного подольше, не как всегда? Ну хотя бы чуть-чуть...

Я надел рубашку и подошел к окну.

Это и была та грусть, от которой невозможно избавиться никогда. Придя однажды, она уже не уходит.

— Наверное, — тупо ответил я. — Наверное, да.

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru